



# ДЕЖУРНЫЙ БОГ

СОДЕРЖИТ  
НЕЦЕНЗУРНУЮ  
БРАНЬ

Алексей Корнелюк

18+

Поиск себя

Алексей Корнелюк

**Дежурный Бог**

«Автор»

2026

## **Корнелюк А.**

Дежурный Бог / А. Корнелюк — «Автор», 2026 — (Поиск себя)

В этой больнице люди ждут врача. А приходит Бог. Семён — обычный ночной санитар. Он возит каталки, приносит воду, чинит заедающие двери и появляется именно там, где человек уже не может врать себе. В палатах, коридорах, у автомата с горьким кофе и возле дверей реанимации он встречает тех, кто думал, что ждёт диагноза, операции, выписки или смерти. Но на самом деле каждый из них ждёт другого: прощения, смелости, любви, ответа, почему жизнь прошла мимо, пока они всё время были заняты. Павел Сомов, уставший врач, давно перестал видеть в пациентах людей. Для него они стали историями болезни, анализами и койками. Но одна ночная смена меняет всё: Семён начинает водить его по палатам, где чужая боль вдруг оказывается слишком похожей на его собственную. «Дежурный Бог» — тёплый, болезненный и светлый роман о людях, которые оказались на краю не для того, чтобы умереть, а чтобы наконец проснуться.

© Корнелюк А., 2026

© Автор, 2026

# **Алексей Корнелюк**

## **Дежурный Бог**

## Дежурный Бог

Старик умер в четыре семнадцать утра из-за того, что Павел Сомов решил: «Утром». Не по медицинским документам, конечно. По медицинским документам старик умер от острой сердечной недостаточности на фоне общего износа организма, возраста, давления, сахара, плохих сосудов, дешёвой колбасы, которую он ел последние сорок лет, и той особой русской привычки не ходить к врачу, пока внутри не начнёт отваливаться что-то важное. По документам всё было красиво, кругло и безопасно. Организм отказал. Сердце не выдержало. Давление упало. Реанимационные мероприятия результата не дали. Время смерти — 04:17. Подпись врача — П. А. Сомов. Человеческая версия была короче и грязнее: старик три раза попросил позвонить дочери, а Павел три раза сказал ему подождать до утра.

В ту ночь больница пахла мокрой шерстью, хлоркой и чужим страхом. На улице шёл мартовский дождь, такой мелкий и занудный, будто кто-то наверху не плакал, а просто плохо закрыл кран. В приёмном покое орали двое пьяных, одна женщина в пуховике цвета тухлой сирени требовала кардиолога для мужа, потому что «он не такой, как все, у него бизнес», ребёнок с температурой лежал на руках у отца и смотрел в потолок с выражением старика, который уже понял, что взрослые — это люди, умеющие громко волноваться и плохо помогать. В коридоре у автомата с кофе сидел охранник Борисыч и ел бутерброд с варёной колбасой так, будто уничтожал улику. Автомат внутри хрипел, мигал красной лампочкой и выдавал напиток, который на стаканчике назывался «капучино», а в реальности был горячей водой, пережившей плохой развод с молоком.

Павел Сомов шёл по коридору быстрым врачебным шагом человека, который давно научился не смотреть по сторонам. В больнице это было полезное умение. Посмотришь — и всё, ты уже не врач, ты свидетель. А свидетелем быть тяжелее. Врачу можно подписать карту, назначить капельницу, сказать «наблюдаем», «ждём анализы», «динамика отрицательная» и спрятаться за язык, который придумали специально, чтобы живые люди звучали как неисправные приборы. Свидетель видит тапки под кроватью, седой волос на подушке, скомканную записку в кармане халата, руку старухи, которая гладит простыню так, будто это лицо мужа. Павел свидетельствовать устал. Он свидетельствовал пятнадцать лет, а потом однажды обнаружил, что внутри него, где раньше что-то дёргалось, болело и сопротивлялось, теперь стоит белый шкаф с папками.

Ему было сорок один, но в зеркале ординаторской он выглядел как человек, которого забыли выключить после длинного дежурства. Лицо серое, под глазами тени, щетина росла с оскорбительной скоростью, будто единственная живая часть организма решила захватить власть. Волосы на висках тронула седина. Шея болела от вечного наклона над историями болезни. Спина ныла. В груди иногда появлялось неприятное ощущение, похожее не на боль, а на маленькую злую рыбку, которая билась внутри и искала выход. Павел знал, что надо бы проверить. Павел знал, что надо бы спать. Павел знал, что надо бы меньше кофе, меньше злости, меньше этой привычки отвечать людям так, будто они мешают ему делать важную работу, хотя важной работой были именно они. Павел много чего знал. Знание вообще ничего не меняет, если человек использует его как мебель.

Старик лежал в шестой палате у окна. Фамилия у него была Селиванов, имя — Григорий Матвеевич, возраст — восемьдесят два, диагноз — длинный, как очередь в регистратуру, характер — скверный, но не по-настоящему злой. Он был из тех стариков, которые разговаривают с врачами как с сантехниками: подозрительно, сердито и с убеждением, что те обязательно либо обманут, либо недокрутят. На тумбочке у него стояла стеклянная банка с водой, лежал пакетик сушек, маленькая иконка Николая Чудотворца и кнопочный телефон, обмотан-

ный изолентой. Телефон выглядел так, будто пережил Советский Союз, девяностые, две пенсионные реформы и падение с табуретки, но всё ещё работал из упрямства.

— Доктор, — позвал старик, когда Павел проходил мимо палаты. Голос у него был сухой, бумажный. Так шуршат старые квитанции в ящике, которые никто не выбрасывает, потому что вдруг пригодятся. — Доктор, зайдите на минутку.

Павел уже сделал вид, что не услышал. Это тоже было врачебное умение: не услышать ровно настолько, чтобы потом самому себе поверить. Но старик позвал снова, и сосед по палате, толстый мужчина с забинтованной ногой, высунул голову из-под одеяла и сказал:

— Палыч, отстаньте вы от человека. Видите, носится. У них тут людей больше, чем тараканов в общежитии.

— Я не Палыч, — сказал старик. — Я Матвейч.

— Да какая уже разница, — буркнул сосед. — Тут все через неделю становятся или Палычами, или Николаевнами.

Павел остановился у двери. Он не вошёл сразу, постоял на пороге, как человек, который надеется, что проблема сама передумает быть проблемой.

— Что у вас?

Селиванов лежал полусидя, подложив под спину две подушки. На лице у него были старческие пятна, сухие губы и глаза, странно живые для такого изношенного тела. Глаза всегда подводили врача. По телу уже всё понятно: слабость, отёки, одышка, плохая кардиограмма, кислород рядом. А глаза вдруг смотрят так, будто человек ещё не согласился быть диагнозом.

— Дочке позвонить надо.

Павел посмотрел на телефон.

— Звоните.

— Не получается. Кнопки мелкие. Номер сбился. Вы мне наберите, я поговорю.

— Сейчас ночь.

— Я знаю, что ночь. Я не совсем дурак.

— Значит, утром позвоните.

Старик сжал губы. На секунду стал похож на школьника, которого несправедливо отчитали при всём классе, но он решил не плакать, потому что мальчишки не плачут, а старики тем более.

— Мне надо сейчас.

Павел устало провёл рукой по лицу. Где-то в конце коридора опять закричала женщина в сиреновом пуховике. В ординаторской ждали карты. В приёмном покое привезли кого-то с подозрением на инсульт. У интерна дрожали руки после первой тяжёлой смены, и он уже дважды перепутал дозировку, слава богу, на бумаге. На телефоне у Павла висело сообщение от Ольги, бывшей жены: «Ты завтра заберёшь вещи или мне их вынести к консьержу?» Он не ответил. Он вообще в последнее время многое не отвечал. Жизнь превратилась в коридор, где все двери открывались одновременно, а он шёл посередине и делал вид, что умеет выбирать.

— Григорий Матвеевич, — сказал Павел тем мягким голосом, которым врачи говорят, когда внутри уже раздражены. — Сейчас половина второго ночи. Дочь спит. Вы её разбудите, она перепугается, приедет сюда, устроит панику. Утром спокойно позвоните.

— Она не спит.

— Почему?

— Она когда тревожится, не спит.

Павел усмехнулся, не зло, но слишком коротко.

— Ну так не тревожьте её.

Старик посмотрел на него внимательно. Не обиженно даже. Удивлённо. Как будто Павел сказал что-то не грубое, а просто невозможное, как если бы врач вдруг предложил больному оставить сердце на тумбочке и сходить без него в туалет.

— Вы молодой ещё, — сказал он.

Павел не выдержал и почти рассмеялся.

— Спасибо. Мне сегодня как раз не хватало комплиментов.

— Молодой, — повторил старик. — Поэтому думаете, что утро всегда будет.

Вот это Павлу не понравилось. Не сама фраза, а то, что она встала между ними и не собиралась уходить. В больнице вообще было слишком много фраз, которые произносили случайные люди в старых пижамах, а потом они жили в голове дольше, чем результаты анализов. Павел не любил такие фразы. Они мешали работать.

— Утром, Григорий Матвеевич.

— Доктор.

— Утром.

Он вышел из палаты и почувствовал раздражение. Не ярость, не злость, а мелкую липкую раздражённость, как когда к подошве прилипает жвачка. Старик, конечно, был прав по-своему. Все они были правы по-своему. Одному надо сейчас позвонить дочери. Другому сейчас обезболивающее. Третьему сейчас объяснить, почему операцию переносят. Четвёртому сейчас доказать, что он не умрёт, хотя доказательств нет. У каждого своё «сейчас». А у врача это «сейчас» превращается в кашу, в шум, в белую больничную метель, где уже не видно отдельных снежинок. Павел шёл по коридору и думал о том, что если воспринимать каждую просьбу как последнюю, то можно сойти с ума за одну смену. А если не воспринимать — можно продержаться пятнадцать лет. Так он и продержался. Не блестяще, не героически, без фанфар. Просто держался, как старый больничный шкаф держит на себе кипы ненужных журналов.

У лифта стоял новый санитар.

Павел сначала заметил не лицо, а обувь. Странная обувь для санитара: старые тёмные ботинки, начищенные плохо, но упрямо. Халат на нём сидел чужим образом, будто его выдали не человеку, а старому шкафу, который внезапно устроился работать. Под халатом виднелся растянутый серый свитер. Мужчине было лет шестьдесят, может, больше, может, меньше — с такими лицами возраст не угадывается, потому что они выглядят не старыми, а бывшими во многих местах. Волосы седые, жёсткие, зачёсаны назад пальцами. Нос крупный. Щёки впалые. Глаза светлые, насмешливые и усталые так, будто их владелец видел не только эту больницу, но и все предыдущие попытки человечества построить что-нибудь приличное.

Он держал в руках ведро и швабру. Стоял у лифта и смотрел на Павла с таким спокойствием, как будто ждал именно его, а не грузовой лифт.

— Вы кто? — спросил Павел.

— Семён.

— Я не имя спрашиваю. Вы откуда?

— С третьего этажа спустился.

— Я спрашиваю, кто вас сюда поставил?

— Жизнь, — сказал санитар. — Но если вам для отчёта, то Анна Викторовна. Заведующая. Сказала: «Семён, иди мой полы, пока все тут не утонули в собственной важности». Хорошая женщина. Кричит, правда, как архангел на ставке полторы.

Павел уставился на него. В другую ночь он, может быть, даже оценил бы фразу. В эту — нет.

— Документы у вас есть?

— Были. Потом люди придумали электронный документооборот, и я понял, что бумага была вершиной цивилизации.

— Слушайте, Семён, — Павел почувствовал, как раздражение со старика переползает на нового санитара, удобного, живого, стоящего в коридоре с ведром. — У нас тут больница, а не кружок философии при доме культуры. Вы новый — работайте тихо. Если что-то непонятно, спросите старшую медсестру.

— Я уже спросил.

— И что?

— Она сказала: «Не мешайте врачам». А вы стоите, мешаете мне возле лифта.

Семён сказал это без хамства. Даже добродушно. Но Павлу захотелось отобрать у него швабру и вручить ему инструкцию по поведению в лечебном учреждении, желательно тяжёлую, в твёрдом переплёте.

Лифт приехал с таким звуком, будто внутри умер трактор. Двери открылись. На каталке лежала женщина из приёмного покоя — та самая, чей муж был «не такой, как все, у него бизнес». Муж теперь шёл рядом бледный, с кислородной маской и выражением человека, который впервые заподозрил, что бизнес не договорился с его сердцем. Женщина в сиреновом пуховике семенила рядом и говорила Павлу:

— Доктор, вы только посмотрите нормально, он у меня очень важный человек, очень, ему нельзя, вы понимаете, у него завтра встреча, у него люди, у него предприятие...

— В реанимацию, — коротко сказал Павел медбрата. — Быстро.

Мужчина на каталке вдруг повернул голову к жене и прохрипел через маску:

— Свет, замолчи.

Женщина осеклась. В этих двух словах было больше брака, чем в любом свидетельстве. Павел увидел, как у неё задрожали губы. Она всё ещё была смешная в своём пуховике и с сумкой, набитой документами, таблетками, зарядками, какими-то печеньями, потому что родственники всегда приезжают в больницу так, будто собираются пережить осаду. Но теперь она стала просто женщиной, у которой на каталке везли человека, с которым она ругалась двадцать лет и без которого не знала, куда деть руки.

Семён придержал дверь лифта.

— Видите, доктор, — сказал он тихо, когда каталка въехала внутрь. — Человеку понадобилось сердце, чтобы жена наконец помолчала.

— Вы вообще фильтруете, что говорите?

— Иногда. Сегодня экономлю фильтр.

Павел хотел ответить, но лифт закрылся, и коридор опять втянул его в себя. До четырёх утра время размазалось. Он осматривал, назначал, подписывал, ругался, объяснял, дважды пил кофе, один раз вылил его в раковину, потому что даже его усталость отказалась это принимать. Интерн Лёша стоял в ординаторской с глазами побитой собаки и спрашивал, можно ли ему пять минут посидеть. Павел сказал: «Сидеть будешь на пенсии». Потом через минуту сам же бросил ему: «Ладно, сядь. Только не умирай здесь для красоты, у нас и так план перевыполнен».

В половине третьего Селиванов снова позвал.

Павел вошёл в палату уже с готовым раздражением. Старик сидел так же, только дышал тяжелее. Сосед с забинтованной ногой храпел, разинув рот, как старая форточка. За окном дождь стёк по стеклу кривыми дорожками, и свет фонаря делал их похожими на трещины.

— Что?

— Доктор, — сказал старик. — Позвоните, а?

На этот раз он не требовал. Просил. В просьбе старого человека есть неприятная физика: она не давит громкостью, она просачивается. Павел посмотрел на телефон на тумбочке. Старый кнопочный кирпич. Можно было взять. Набрать номер. Дать старику поговорить. Это заняло бы две минуты. Может, пять. Может, дочь не ответила бы. Может, ответила бы и начала плакать. Может, приехала бы. Может, устроила бы скандал. Может, потом сказала бы спасибо. Может, ничего бы не изменила. В больнице огромное количество «может», и каждое стоит у тебя на пути, как родственник в дверях реанимации.

— Григорий Матвеевич, у вас показатели сейчас более-менее. Вам надо отдыхать.

Старик смотрел не на него, а на телефон.

— Она у меня одна.

Павел молчал.

— Не хорошая и не плохая. Обычная. Характер мой взяла, дурочка. Гордая. Если бы умная была, в мать бы пошла. Мать у нас была мягкая. Такая мягкая, что её жизнь вся как тесто продавала. А эта — нет. Эта зубами. Мы с ней поругались перед моей госпитализацией. Из-за ерунды. Она мне суп принесла, а я сказал, что суп пустой. Представляете? Человек суп принёс, а я ему — пустой. Как будто я ресторанный критик в трусах с вытянутой резинкой.

Павел неожиданно представил эту сцену: маленькая кухня, кастрюля, дочь в куртке, старик в майке, суп, обида, пар от тарелки. Вся человеческая жизнь держится на таких идиотских супах. Не на великих предательствах, не на громких катастрофах, а на фразе, сказанной в кухне, когда человек устал, испугался, почувствовал себя ненужным и ударил по тому, кто стоял ближе всех.

— Утром помириться.

Старик улыбнулся. Очень слабо.

— Вы добрый, доктор. Просто прячете плохо.

Павел почувствовал, как внутри что-то кольнуло. Он мог бы в этот момент взять телефон. Правда мог бы. Потом он много раз возвращался к этой секунде, как возвращаются языком к больному зубу. Никакой трагической музыки, никакого знака с неба, никакой лампы, которая бы заморгала, никакого призрака в углу. Просто тумбочка. Телефон. Старик. Врач. Две минуты. Иногда судьба выглядит не как развилка в горах, а как кнопочный телефон, который ты не взял в руку.

Но в коридоре кто-то крикнул: «Доктор!» Потом ещё раз. Потом быстрее: «Доктор, там плохо!» Павел резко повернулся.

— Я зайду позже.

— Когда?

— Скоро.

Он вышел.

Скоро не наступило.

В три сорок привезли женщину с отёком лёгких. В три пятьдесят у бизнесмена из реанимации началась аритмия, и жена в сиреновом пуховике стояла под дверью, вцепившись в сумку, как в спасательный круг. В четыре ноль пять интерн Лёша уронил лоток с инструментами и сказал: «Бля», так честно и детски, что даже медсестра Надя не стала его воспитывать. В четыре десять Павел подписывал назначение, когда из шестой палаты раздался странный звук. Не крик. Не стон. Как будто кто-то внутри старика тихо оборвал верёвку.

Он вбежал туда и сразу понял.

Есть момент, когда тело ещё здесь, но человек уже отступил от него на шаг. Врачи знают этот момент. Они не говорят о нём, потому что это не научно, а если врач начнёт говорить ненаучное, его либо засмеют, либо пригласят на телевидение. Селиванов лежал на подушке, рот приоткрыт, глаза полускрыты, одна рука свесилась с кровати и почти касалась пола. Кнопочный телефон лежал на тумбочке. На экране светилось: «Вера дочь». Старик, видимо, всё-таки пытался набрать. Не смог. Или смог и не дозвонился. Или нажал не туда. Или просто держал телефон в руке, как держат ключ от дома, в который уже не успеваешь вернуться.

Дальше всё пошло как положено. Кислород. Монитор. Команды. Руки. Медсестра. Интерн, белый как больничная стена. Сосед с забинтованной ногой проснулся и сел на кровати, прижимая к груди одеяло. Он всё повторял: «Матвеич? Матвеич?» — таким голосом, будто старик просто слишком крепко уснул и его надо позвать погромче. Павел делал то, что должен был. Быстро, чётко, без лишних слов. Он был хорошим врачом. В этом и была мерзость. Хороший врач может сделать всё правильно слишком поздно.

В четыре семнадцать Павел сказал:

— Всё.

Никто не любит это слово в больнице. Оно слишком короткое для смерти. Смерти вообще не идут короткие слова. Человек восемьдесят два года ел хлеб, мерз на остановках, целовал женщину в подъезде, ругался с дочерью из-за супа, покупал изоленту, пережил похороны жены, носил в кармане ключи, которые открывали его квартиру, и всё это заканчивается одним словом: всё. В русском языке есть особая жестокость экономии.

Медсестра Надя накрыла Селиванова простыней. Сосед по палате вдруг заплакал, отвернувшись к стене. Он знал старика меньше недели, но в больнице неделя иногда длиннее родства. Они вместе слушали, как ночью храпит батарея, вместе ждали обхода, вместе обсуждали кашу, вместе ненавидели уколы в живот. Это тоже близость, просто без фотографий на холодильнике.

Павел взял телефон с тумбочки. Старый, тёплый ещё от руки. На экране всё ещё была Вера. Он нажал вызов.

Гудки пошли сразу.

Один. Второй. Третий.

На четвёртом женщина ответила. Голос сонный и уже испуганный, потому что ночью отцы не звонят просто так, особенно старые, особенно из больницы.

— Пап?

Павел закрыл глаза на секунду. Очень короткую. Так коротко, что никто бы не заметил. Но внутри у него за эту секунду что-то успело упасть с большой высоты.

— Вера Григорьевна?

Молчание.

— Да.

— Это врач Сомов. Ваш отец...

Он сказал всё, что должен был сказать. Слова были правильные, выверенные, стерильные. «Состояние резко ухудшилось». «Мы сделали всё возможное». «К сожалению». «Примите соболезнования». У врачей есть набор фраз для смерти, как у сантехника набор ключей. Они подходят почти ко всем случаям и почти никогда ничего не открывают.

Женщина на том конце не кричала. Это было хуже. Она просто дышала. Потом спросила:

— Он просил мне позвонить?

Павел посмотрел на простыню, под которой лежал её отец. На телефон в своей руке. На соседскую спину, которая мелко тряслась под одеялом. На Надины глаза. На интерна Лёшу, который смотрел в пол так, будто там была инструкция, как жить после первой смерти на смене.

— Да, — сказал Павел.

Слово вышло само. Маленькое. Голое. Не врачебное.

— Когда? — спросила Вера.

Он мог соврать. Он почти соврал. Ложь уже подошла к горлу в белом халате и с печатью учреждения. «Перед самым ухудшением». «Мы пытались связаться». «Он беспокоился о вас». Врать в больнице легко, если врать мягко. Люди и сами хотят, чтобы им дали форму боли, которую можно удержать руками.

— Ночью, — сказал Павел. — Раньше.

Вера молчала так долго, что Павел услышал, как где-то у неё в комнате тикают часы или, может быть, это в коридоре больницы капала вода из неисправного крана. Потом она сказала:

— Я не спала.

И отключилась.

Павел стоял с телефоном в руке. Телефон был старый, дешёвый, с треснутым углом. На задней крышке ногтем было выцарапано «Г.С.», чтобы не перепутали, хотя кому ещё был нужен этот кирпич? На заставке — фотография женщины лет пятидесяти, наверное, дочери. Плохо снятая, чуть смазанная, в зелёной куртке, на фоне дачного забора. Она щурилась от

солнца и, кажется, смеялась. Павел вдруг почувствовал к этому телефону такую ненависть, будто это он виноват. Телефон, ночь, старик, суп, дочь, работа, март, вся эта больница с облезлыми стенами, где люди умирали не вовремя, просили невозможного, хотели, чтобы врач был не только врачом, но и человеком, а человек внутри врача давно лежал где-то в подсобке под списанным матрасом.

— Доктор, — сказал кто-то за спиной.

Павел обернулся.

В дверях стоял Семён. В руках у него было ведро. Швабра лежала на плече, как ружьё у усталого солдата. На лице — ни удивления, ни жалости, ни того профессионального сочувствия, которое раздражает сильнее хамства. Он просто стоял и смотрел.

— Что вам? — резко спросил Павел.

— Пол помыть.

— Здесь человек умер.

— Я вижу.

— Тогда выйдите.

Семён не вышел. Он посмотрел на накрытого Селиванова, потом на телефон в руке Павла.

— Дозвонился?

Павел медленно сжал телефон.

— Не ваше дело.

— Моё.

— С какой стати?

Семён поставил ведро на пол. Вода внутри качнулась и отразила потолочную лампу. Лампа была длинная, белая, мёртвая, и в ведре она вдруг стала похожа на тонкую дорогу.

— Потому что он три раза просил, — сказал Семён.

В палате стало тихо. Даже сосед перестал всхлипывать. Павел почувствовал, как в нём поднимается холодная злость. Не на санитара. На то, что санитар знает. На то, что эта ночь слишком густая, слишком липкая, слишком полная случайных свидетелей.

— Вы подслушивали?

— Слышал.

— И что же вы сами не позвонили, если такой святой?

Семён посмотрел на него внимательно, почти с интересом.

— Я не святой, Паша.

Павел вздрогнул. Не сильно. Но вздрогнул.

— Откуда вы знаете, как меня зовут?

— На бейдже написано.

Павел опустил глаза. На халате действительно висел бейдж: «Сомов Павел Андреевич». Он выдохнул через нос. Усталость делала его смешным. Подозрительным, как старуха у банкомата.

— Тогда читайте бейдж внимательнее. Для вас я Павел Андреевич.

— Конечно, доктор.

Семён взял швабру, но не начал мыть. Сначала подошёл к тумбочке, аккуратно взял иконку Николая Чудотворца, которая стояла рядом с сушками, и положил её на столик ровнее. Этот жест почему-то вывел Павла из себя сильнее всего.

— Не трогайте вещи.

— А он уже не против.

— Хватит.

Семён кивнул.

— Хватит так хватит.

Он опустил швабру в воду, отжал её и начал мыть пол у входа. Двигался спокойно, неторопливо, будто пол в палате умершего человека был не менее важен, чем реанимация. Может, даже важнее. Павел смотрел, как мокрый след ложится на линолеум, как вода собирает маленькие грязные полосы от подошв, капли, следы ночи. В этом было что-то унижительно простое: человек умер, а пол всё равно надо мыть. Сердце остановилось, дочь не успела услышать голос, старик остался под простынёй, а по полу кто-то прошёл в грязных ботинках, и это тоже часть мира, которую нельзя отменить.

— Иногда, доктор, — сказал Семён, не поднимая головы, — человек умирает не от сердца.

Павел усмехнулся, но в горле было сухо.

— Сейчас вы мне медицинскую лекцию прочитаете?

— Нет. Вы медицинские лекции сами себе читаете, когда страшно.

— А от чего же он умер, по-вашему?

Семён остановил швабру. Посмотрел на простыню. Потом на Павла.

— От утра.

— Что?

— От вашего утра. От моего утра. От всех наших «потом». «Утром позвоню». «Потом зайду». «Как-нибудь скажу». «В другой раз обниму». Хорошее слово — потом. Удобное. Мягкое. Как подушка в гробу.

Павел почувствовал желание ударить его. Не всерьёз, конечно. Врачи не бьют санитаров посреди палаты, где умер пациент. Они подписывают бумаги, пьют кофе и получают язву. Но желание было. Живое, красное.

— Вы философ?

— Нет.

— Священник?

— Тоже нет.

— Тогда кто вы такой?

Семён чуть улыбнулся.

— Дежурный.

— Санитар?

— Сегодня — санитар.

Павел хотел спросить: «А завтра кто?» Но не спросил. Потому что в этот момент в коридоре опять позвали врача. Позвали так, как зовут в больнице: не имя, не фамилию, а функцию. «Доктор!» Будто это не человек, а кнопка на стене. Павел сунул телефон Селиванова в пакет с вещами, вышел из палаты, но у двери остановился.

— Семён.

— Да?

— Если будете ещё раз комментировать мои действия при пациентах или родственниках, я добьюсь, чтобы вас уволили до конца смены.

Семён стоял с шваброй посреди палаты. За его спиной на кровати лежал накрытый старик, а за окном дождь продолжал царапать стекло. Санитар посмотрел на Павла без страха и без вызова. Почти ласково. Это было хуже.

— До конца смены, доктор, — сказал он, — ещё много кто не доживёт. Начните с живых.

Павел вышел в коридор.

Больница не спала. Больница вообще не умела спать. Она только притворялась днём учреждением, а ночью становилась огромным зверем с белыми кишками коридоров, с лифтами вместо лёгких, с палатами вместо рёбер, с реанимацией вместо сердца и моргом где-то внизу, как памятью, о которой никто не хочет говорить за ужином. Этот зверь дышал кислородными масками, кашлял в простыни, стонал через закрытые двери, ругался с родственниками, пищал

мониторами, шептал молитвы, матерился, плакал в туалетах, ел холодные котлеты из контейнеров и ждал утра, как ждут оправдания.

Павел шёл по коридору, и впервые за много лет ему казалось, что пол под ногами не просто ведёт его от палаты к палате, а куда-то глубже. Туда, где лежали все его «потом». Неотвеченные сообщения. Невзятые трубки. Непроизнесённые извинения. Вещи, которые Ольга хотела вынести к консьержу. Пациенты, которых он называл по номерам палат. Старик, которому он не набрал номер, потому что был занят спасением людей.

У поста медсестры мигала лампа. На стуле спал интерн Лёша, уронив голову на грудь. Из шестой палаты вышел Семён с ведром. Вода в ведре была серой.

— Доктор, — сказал он.

Павел остановился, хотя не хотел.

— Что ещё?

Семён кивнул в сторону приёмного покоя.

— Там женщина спрашивает, можно ли ей к мужу. Тот, у которого бизнес.

— Нельзя. Реанимация.

— Она говорит, что он просил её помолчать, а она теперь боится, что это были его последние слова.

Павел закрыл глаза. На секунду. Опять на секунду.

— Скажите ей, что утром...

Он не договорил.

Семён смотрел на него.

Павел открыл глаза и вдруг почувствовал такую усталость, будто пятнадцать лет не спал, а только изображал бодрствование. Он хотел сказать: «По инструкции нельзя». Хотел сказать: «Мы не можем пускать всех». Хотел сказать: «Не начинайте». Хотел сказать что угодно из набора взрослого, правильного, мёртвого человека. Вместо этого он посмотрел в сторону реанимации, где за дверью лежал мужчина, который понял, что бизнес не защитил его сердце, и где в коридоре стояла женщина в сиреновом пуховике, набитая страхом до самого горла.

— Две минуты, — сказал Павел. — Только две. И чтобы без истерик.

Семён не улыбнулся. Только кивнул.

— Видите, доктор. Утро иногда можно перенести на сейчас.

— Не умничайте.

— Поздно.

Павел пошёл к реанимации. Женщина в сиреновом пуховике стояла у стены и держала в руках бахилы, которые так и не надела. Увидев врача, она выпрямилась, как школьница перед директором.

— Доктор? Что с ним?

— Состояние тяжёлое, — сказал Павел. — Но стабильное на данный момент. Вы можете зайти на две минуты.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.